



Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая ***

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. И.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АДАМ МИЦКЕВИЧ

СТИХОТВОРЕНИЯ



ПОЭМЫ

ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1968

Вступительная статья, составление и примечания
Б. Стакеева

И (Пол)
М 70

Иллюстрации
Ф. Константинова

7—4—4
Подп. изд.



АДАМ МИЦКЕВИЧ

Имя Мицкевича, наряду с другими славными польскими именами — Коперника, Шопена, Склодовской-Кюри,— давно воспринимается как олицетворение того вклада, который внесла Польша в сокровищницу мировой культуры. В России узнали и полюбили Мицкевича без малого полтора столетия тому назад. Его творчество настолько богато жизненным содержанием, настолько масштабно в своих гуманистически-философских обобщениях, настолько проникновенно, человечно и возвысшенно, что — перекидывая мост между прошлым и настоящим, преодолевая десятилетия,— способно в основном и главном восприниматься читателем сегодняшнего дня, даже не поляком, безcommentаторского посредничества. Но верно и то, что в какой-то степени мы можем приблизить к себе великого поэта, припомнив времена, свидетелем которых он был, познакомившись, пусть бегло, со страницами его жизни. Это была жизнь борца, стремившегося слово подтверждать делом, не мирившегося с достойной отрицания действительностью и умевшего идти сквозь бури, испытания, поражения. Мицкевич был не только гением поэзии — он был воином польской и европейской демократии. У нас еще А. В. Луначарский подчеркивал, что Мицкевич — это, не столь частое в литературе, «сочетание в одном лице поэта мирового значения и поэта революционного».

* * *

Дата рождения Мицкевича — 24 декабря 1798 года. Несколько годами ранее, под нажимом соседних монархий, погубленная внутренним неустройством, политической отсталостью шляхетской массы, прямым предательством реакционных магнатов, Польша становится жертвой разделов и перестает существовать как государство. Какое-то время, пока Европа бурлила войнами, польские патриоты еще лелеяли надежды на

благоприятный поворот событий. Наполеоновские походы, в которых участвовало и польское войско, были горьким историческим уроком, они показали, что завоевание свободы вряд ли придет извне и трудно сочетается со служением чужому делу. Однако они оставили польскому обществу не только «наполеоновскую легенду», долго еще туманившую умы, но и память о днях, когда в крови и пушечном дыме менялся облик континента. В эти годы ускоренно шла выработка нового патриотического сознания, уже освобождавшегося от феодально-кастового духа и способного подняться до понимания интересов более широкой массы. Польской демократии предстояло в XIX веке стать одним из самых боевых отрядов демократии всеевропейской.

Детство и молодые годы Мицкевича, родившегося на хуторе Заосье близ города Новогрудка, протекли в Белоруссии и Литве. История этих земель, переживших натиск крестоносцев и татарские набеги, явившихся полем войны между Речью Посполитой и Московским государством, была неспокойной и полной превратностей. Территории древних русских княжеств и Великого княжества Литовского, они вошли в состав Речи Посполитой, но как особая часть — Литва, в отличие от собственно Польши, или «Короны». (Не случайно в поэзии Мицкевича Литва выступает как обозначение родины не реже, чем Польша.) Лишь под конец XVIII века разделы Польши привели эти земли под власть Российской империи. Память о прошлом оказалась, однако, достаточно живучей, поддерживалась существованием прежних нравов и быта, а на первых порах и остатками старых учреждений (что прекрасно показано в «Пане Тадеуше»). Еще долго поборники польской независимости не мыслили ее без воссоединения этнографической Польши с территориями, прилегавшими к ней на востоке. Белорусско-литовские земли охватывались в XIX веке и сетью польской патриотической конспирации, и пламенем вспыхивавших революционных восстаний. Чрезвычайно жесткий характер носили здесь русификаторские и репрессивные меры царских властей. Местное польское население было достаточно многочисленным и вовсе не состояло из одних лишь помещиков; оно включало в себя и горожан, и шляхтичей только по гербу, живших службой, а подчас и пахавших землю. Отец будущего поэта, Миколай Мицкевич, был адвокатом, поместий не имел и, скончавшись в 1812 году, оставил многочисленную семью в весьма трудном положении.

Среда, взрастившая Мицкевича, была, таким образом, достаточно демократичной и не была замкнуто польской. Это стоит учитывать, следя за его духовным развитием и сталкиваясь с такими чертами, как устойчивые фольклорные интересы, представления о необходимости мирного сожительства народов, восприимчивость к славянской идеи, неприязнь к аристократии, знание быта в широком социальном разрезе, неизменное народолюбие.

1815 год, когда Мицкевич стал казенномкоштным студентом Виленского университета, был и годом, когда более чем на столетие определилась судьба польских земель. После разгрома Наполеона, чье бесславное отступление из России видел и пережил будущий поэт, Венский конгресс произвел новый раздел Польши,— и теперь под властью России оказалась часть территории собственно польских, образовавших Королевство (Царство) Польское с такими атрибутами автономии, как сейм и собственная армия. Плоды либеральныхalexандровских жестов не могли, конечно, выжить в атмосфере все более откровенного перехода царизма к аракчеевским методам. Неуклонно обозначался и раскол внутри польского общества. Цель ведущих политиков Королевства состояла в сохранении существующего порядка. Либеральные круги делали ставку на мирный прогресс, развитие промышленности, просвещения и культуры. Зарождавшиеся тайные общества рвались к завоеванию политических свобод, к борьбе за национальную независимость.

Студенческие годы Мицкевича (1815—1819), а затем годы учительства в Ковно дали ему не только основательнейшее филологическое образование (Виленский университет был тогда крупнейшим центром польской культуры). Он открывает для себя широкий мир европейской мысли и поэзии. Увлечение вольнодумием и язвительной иронией Вольтера, чьим переводчиком и подражателем был Мицкевич в своих первых пробах пера, дополняется жгучим интересом к размышлениям Руссо об обществе, цивилизации, морали, к историческим концепциям Гердера и т. д. И, конечно, оставили свой след в духовной биографии Мицкевича поэтические кумиры тогдашнего поколения — Шекспир, Гете, Байрон. Но еще важнее то, что Мицкевич — студент и ковенский учитель — делает первые шаги в общественной деятельности. В 1817 году Мицкевич и небольшая группа его друзей основывают тайное «Общество филоматов» («любящих науку»).

Документы и материалы филоматов, дошедшие до нас, не отражают, по понятным причинам, всех тех стремлений, которыми жил этот круг молодых энтузиастов. Можно, однако, с уверенностью сказать, что начали они с взаимной помощи в занятиях науками, с чтения на собраниях первых литературных опытов, с идеи морального совершенствования и закалки, а затем все отчетливее стала вызревать мысль о возможно более деятельном служении родине. «Отчизна» в лозунгах и песнях филоматов занимает место рядом с «наукой» и «добродетелью». Замысел подготовки юных граждан к общественно-патриотическим свершениям, на первых порах четко не определяемый, выливается в резкую оппозицию печальной для Польши политической действительности, в стремления, которые вели к национальной революции. Кружки преобразовываются. Возникают «дочерние» организации «променистых» («лучистых»), а затем «филаретов» («любящих добродетель») с более широким

составом, с разветвленной сетью, с разною степенью посвящения. Устанавливаются связи с конспираторами вне Литвы, и более чем вероятна какая-то степень осведомленности филоматов об аналогичном движении в России.

Подобная эволюция была, разумеется, уделом не всех, а лишь наиболее решительных из филоматского круга — будущих повстанцев, ссылочных, эмигрантов. Многие из них оставили свой след и в польской литературе. Великим стал только один. Но начинал Мицкевич с того, что стремился быть голосом сотоварищей и братьев, начинал с откликов на микрособытия дружеского кружка, со стихотворного выражения общих лозунгов и программ. Мужает, все ярче обрисовывается могучая поэтическая индивидуальность, Мицкевич опережает сверстников — и дело не обходится без расхождений, непонимания. Но строки, вышедшие из-под пера поэта, впоследствии подхватил круг современников и потомков, куда более широкий, чем филоматский. Чеканный призыв «Песни филаретов» (1820): «Мерь силы по намерениям» — становится обозначением революционного дерзания. Классическую форму и образность прославленной «Оды к молодости» (1820), в общем не разрывавшую с тогдашними поэтами, прямо-таки разламывал поразивший современников невиданный ранее романтический энтузиазм. Ибо «Ода» оказывается чем-то гораздо большим, чем вершина филоматской поэзии, чем мост между Просвещением и новой эпохой, чем усвоение польской лирикой властвовавшего над умами бунтарско-шиллеровского духа. Революционного молодого современника захватывало в ней все: контраст аллегорических образов Молодости и Старости — то есть смелого самоожертвования и трусливого благородства, братства бойцов и эгоизма «существователей», — вселенско-космическое видение мира, соответствовавшее грандиозной цели поколения — освободить родину, и дерзкий призыв толкнуть планету «на новые пути», и радостное приветствие забрезжившей «зорьке свободы» — предвестнице «солнца избавления». В политическую атмосферу эпохи, гениально почувствованную автором, входит как неотъемлемая часть и сама «Ода», распространяемая в списках, а через десять лет ее печатают как боевую прокламацию варшавские повстанцы. Такое соотношение между поэзией и действительностью в принципе останется для Мицкевича характерным во все годы его славы, начиная с опубликования первого тома «Поэзии» (1822; второй том появляется годом позже), когда было положено начало новому, романтическому направлению в польской литературе.

В Польше романтизм был связан не только с литературным прогрессом, не только с теми открытиями в изображении мира и человека, которые принесло с собой это общеевропейское литературное движение. Предгрозовая атмосфера приближавшегося восстания придала спорам литераторов политическую остроту, сделала их зашифровкой такого

содержания, о котором нельзя было говорить в открытую. Литературное староверие, отстаивание клонившихся к упадку прежних направлений (классицизм, сентиментализм) стало восприниматься как нечто равнозначное верности существующему порядку вещей. Низвержение устаревших поэтических канонов превратилось в символ бунта против стеснительных для развития нации политических условий. Смелое введение в литературу национально-народного элемента было созвучно подымавшимся в обществе патриотическим и демократическим стремлениям. Поэзия молодого Мицкевича давала все основания для такой интерпретации, хотя была и шире ее в своем человеческом, на века вошедшем в жизнь народа содержании.

Когда в балладе «Романтика» (программной для всего цикла «Баллад и романсов», 1822) ведется спор между «разумом» и «чувством» (ученый старец и крестьянская девушка) — это не упрощенно-плоский выбор между рационализмом и иррационализмом в пользу последнего. Энтузиазм и порыв в неведомое противопоставлялся ограниченно-самодовольной мудрости и осторожной трезвости. И это обретало совершенно ясный смысл в тогдашнем споре между патриотизмом и национальным оппортунизмом. Ориентация на народность, пронизавшая «Баллады и романсы» (хотя осуществленная не во всем последовательно, подчас с налетом сентиментальности), внесла впольскую поэзию не только взятые из фольклора сюжеты и образы, поразившие тогдашнего читателя своей свежестью, не только новое звучание стиха и пополнение гоэтического словаря. Она знаменовала поворот в области эстетического вкуса — в сторону большей естественности и большей демократичности: простонародный элемент получал права гражданства в сфере поэзии. Больше того, народное творчество представляло у Мицкевича хранителем истинно нравственных понятий, мечты о мире, где проведена четкая граница между добром и злом и человеческие поступки получают справедливое воздаяние. А мысль о моральном возрождении общества была в те годы равнозначна стремлению к политическому возрождению нации.

Линию баллад продолжает лирико-драматическая поэма «Дзяды» (части II и IV, 1823). Фольклор остается эстетическим ориентиром; обращаясь к нему, поэт видит создание истинно национальных драматических форм (от народного обряда поминовения умерших происходит и название поэмы). Непрекращающийся морализаторский поиск заходит в область социальных отношений (крестьянский суд и загробное возмездие жестокому пану во второй части «Дзядов»).

И тут же в произведение вторгается глубоко личная тема. Мицкевич пережил к этому времени бурное и несчастливое чувство к Марыле Верещака, чье имя встречается на многих страницах его лирики. Четвертая часть «Дзядов» стала поразительным по откровенности и страсти рассказом о любви и муках героя, разлученного с возлюбленной (дочь

состоятельных родителей, Марыля вышла за графа Путкамера). Необычной была и форма: монодрама, драма-монолог, драма-исповедь. Обвинительный акт против возлюбленной получился у поэта — при всем обилии подлинных деталей — не во всем точным и справедливым (от поэтической автобиографии вообще не стоит требовать скрупулезной верности). Дело было в другом: с редкою достоверностью в польской поэзии зазвучала человеческая страсть, появилась личность, протестующая против попрания своих прав, появился герой, воспринятый как польский Вертер, но выступающий с бунтом и отрицанием более резким, почти байроновским. Личное редко оставалось в поэзии Мицкевича только личным. В «Дзядах» героя сводит с ума не просто женское малодушие: виновным оказывается всецелое денежное и титульное, мир предстает устроенным так, что для прав сердца в нем нет простора. И слияние в едином замысле (хотя и не получившем целостного завершения) темы интимно-личной и более широкой, народно-фольклорной, было у Мицкевича, конечно, не случайным.

Бунт во имя прав личности как таковой в польском романтизме после 1823 года отступил, впрочем, на второй план. И Мицкевич, опубликовав в том же году поэму «Гражина», дал иной вариант романтического героя. Менее дерзкая в разрыве со старой эстетикой — при явной, впрочем, новизне сплава лирического и эпического элементов, исторического колорита и самого жанра (это был первый образец излюбленной романтиками «поэтической повести»), — «Гражина» положила начало героико-патетической линии в польском романтизме, представила героиню, гибнущую ради того, чтобы увлечь на борьбу с врагом своих соотечественников.

В годы, когда первые томики Мицкевича волновали польского читателя, вербя новому направлению восторженных сторонников и явных недоброжелателей, автор их был выключен из польской литературной жизни. В жизни Мицкевича произошло потрясение, как бы стершее личные переживания предшествующих лет. Царские власти напали на след филоматско-филаретских организаций. В октябре 1823 года в келье ставшего следственной тюрьмой базилианского монастыря в Вильне оказался со своими товарищами и Мицкевич. Следствие, которое возглавил один из приближенных Александра I сенатор Новосильцев, было долгим и придирчивым, а приговоры достаточно суровыми (вплоть до крепостных работ и солдатчины). Мицкевич, благодаря собственной осторожности идержанности ближайших друзей, подвергся наказанию сравнительно мягкому: высылке во внутренние губернии Российской империи. 25 октября 1824 года он выезжает из Вильны и прибывает в Петербург в дни знаменитого наводнения, описанного в пушкинском «Медном всаднике».

Тяжесть ссылки, продлившейся четыре с половиною года, была для Мицкевича в значительной степени смягчена тем благожелательным приемом, который был оказан ему в русском обществе, и приобщением к литературной жизни русских столиц. Окружение его составили в эти годы не только сотоварищи по несчастью и проживавшие в России поляки: поэт завязывает многочисленные знакомства среди русских. На первом месте — и по хронологии и по степени важности — следует поставить его сближение с будущими декабристами, осуществившееся в первые же недели после прибытия в Петербург. Члены Северного общества К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев станут теми, кого Мицкевич несколько лет спустя первыми упомянет в поэтическом послании «Русским друзьям». Почва для сближения не была исключительно литературной, хотя Рылеев еще до встречи с польским поэтом взялся за перевод двух его баллад — «Лилий» и «Свitezянки», хотя «Вольное общество любителей российской словесности», служившее декабристам легальным прикрытием, содействовало установлению польско-русских культурных связей. Если буквально толковать строки из рекомендательного письма, данного Мицкевичу при отъезде из Петербурга в Одессу (январь 1825 г.), Мицкевич был для Рылеева «к тому же и поэтом». Главное же в отношении к ссылочным полякам определялось известной рылеевской фразой: «По чувствам и образу мыслей они уже друзья». Вряд ли мы получим когда-либо исчерпывающее решение вопроса о причастности Мицкевича к деятельности первых русских революционных организаций. Но множеством данных подтверждаются и широта его связей в кругах, оппозиционных царизму, и, по меньшей мере, незаурядная осведомленность о революционном брожении в России.

Когда, проведя в Одессе почти год, Мицкевич прибывает в декабре 1825 года в Москву, связи его в русском обществе восстанавливаются не сразу и приобретают характер преимущественно литературный. Красноречив неудавшийся замысел поэта осуществить издание польского журнала в России, чтобы содействовать культурному сближению двух народов. Нельзя не отметить публикации его статей в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф». О многом говорит и длинный список русских писателей, Мицкевича знавших, ценивших, переводивших, упоминавших его имя в стихах, переписке, мемуарах (Жуковский, Грибоедов, Баратынский, Дельвиг, Вяземский, Козлов, Полевой и ряд других). Самый же значительный и самый известный факт — сближение Мицкевича с Пушкиным, впоследствии выросшее в символ единения и дружбы культур и народов.

Первая встреча поэтов произошла осенью 1826 года. О значении ее вряд ли кто сказал лучше, чем младший ее современник — А. И. Герцен: «Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей,— не смели даже

произносить их имена; только и говорили что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза...»

Отношения Пушкина и Мицкевича — тема, заслуживающая специальной статьи. Здесь мы лишь напомним читателю о знаменитом стихотворении Пушкина, где Мицкевич изображен пророком «времен грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» (оно дополняется целым рядом упоминаний имени польского поэта в других пушкинских стихах), и отошлем к вошедшим в эту книгу пушкинским переводам баллад Мицкевича и к стихотворению «Памятник Петру Великому», в котором Пушкин представлен как олицетворение свободолюбивых стремлений России, веры в падение самовластия. Подчеркнем также, что взаимный творческий интерес, взаимное уважение поэтов пережили труднейшее испытание разгромленного царизмом восстания 1830 года и достаточно серьезные расхождения в политических взглядах, что подтверждается свидетельствами, названными выше, а также статьей Мицкевича «Пушкин и литературное движение в России» (1837), оценками пушкинского творчества в позднейших парижских лекциях (все это издано на русском языке).

Ссылка не повлекла за собой ослабления творческой энергии Мицкевича. Напротив, талант его окреп, возмужал, засверкал новыми гранями. Если сравнить, например, баллады 1828 года, вызвавшие переводческий интерес Пушкина, с первыми балладами, очевидной станет крепнувшая связь поэзии Мицкевича с реальностью, обогащение его художнической палитры. Цикл лирических стихотворений, созданный в Одессе, приносит с собой новые черты: неповторимую жизнерадость и изящество, редкую музыкальность (многое из этого цикла — даже в переводах — вызвало ряд откликов в русском романсе), обилие житейских реалий, а подчас — ироническое восприятие поэтом-романтиком пошлой быденции так называемого «света».

Создание знаменитых «Крымских сонетов» можно счесть моментом, когда творчество Мицкевича ближе всего сходится с развитием русской поэзии. Сам автор стал свидетелем их благосклонного приема русской публикой и имел возможность написать из Москвы: «Почти во всех альманахах (альманахов здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах (...). Я уже видел русские сонеты в духе моих». Счастливой была и последующая судьба цикла в русской поэзии: она отмечена и обращением к нему виднейших поэтов, и серией удач, украшающих историю русского перевода. Сыграло свою роль характерное для 20-х годов увлечение русских читателей и романтизмом, и «ориентальной» темой — вспомним, сколькими яркими страницами обязана Кавказу и Крыму наша поэзия. И вряд ли мы оши-

бемся, утверждая, что в обстановке подавленности, характерной для периода после 14 декабря, появление «Крымских сонетов» с их звучанием «вольным и широким» (если повторить Герценовы слова о поэзии Пушкина) пришлось как раз вовремя. Великолепные по стихотворной форме описания роскошной природы юга скреплялись в них единым лирическим настроением, образом героя-«пилигрима», который, не сгибаясь под ударами судьбы, остро тоскуя по отчизне и близким, «ищет бури», созвучной настроению мятежной души.

И в Варшаве сонеты вызвали живой (хоть и не единодушный) интерес, обострили споры между сторонниками и противниками романтизма (в полемику включился и сам Мицкевич статьей 1829 года «О критиках и рецензентах варшавских»). Варшава приближалась к восстанию. И одной из искр, воспламенивших молодых патриотов, стало крупнейшее из созданных в ссылке произведений Мицкевича — поэма «Конрад Валленрод» (1828).

С «Гражиною» ее роднит не только сюжетно-историческая основа: обращение к временам, когда Литва отражала написк крестоносцев. В «Валленроде» опять выступает на сцену самоотверженный герой-патриот. Противоречие между частным интересом и патриотическим долгом безоговорочно решается в пользу последнего: невозможно личное счастье, если его нет в отчизне. Романтический трагизм — и такое его понимание надолго укоренится в польской поэзии — основывается не на конфликте личности с окружением, с миром, подавляющим индивидуальность, а на причастности ее к общему, национальному бедствию. И лишь такую личную трагедию — человека, страдающего как часть угнетенной людской общности,— польский романтизм признаёт по-настоящему высокой и масштабной. «Поэтическая повесть» Мицкевича, со всеми элементами важного для романтиков исторического колорита, действием стремительным и таинственным, слиянием лирического и эпического начал, была пасквиль современной, специфически польской. И не только утверждение прав угнетенного на борьбу стало ее содержанием. Совсем недавние события (а одному из них — декабристскому восстанию — Мицкевич был очевидцем) делали ощутимым кризис дворянской революционности, методов «военной революции» и заговора избранных. (Польше вскоре предстояло кровью и страданиями оплатить соответствующий урок истории.) Автор «Валленрода» схватывает и представляет — смутно и приблизительно, без ясных и бесспорных выводов, в одном лишь эмоционально-этическом плане — как бы две стороны знакомого ему движения: и самоотверженность, энтузиазм, и трудности, слабости, трагизм. Герой его проходит сквозь сомнения, колебания, муки и оказывается борцом, сражающимся за народ, но без него, в терзающем душу одиночестве,— тем, кто обречен стать жертвой и не увидеть

плодов своего самоотречения, погибнуть, проложив путь грядущему мстителю.

В мае 1829 года Мицкевичу удается получить разрешение на выезд из России и отправиться из Петербурга в заграничное путешествие — в Германию, Швейцарию, Италию. В Риме застает его весть о восстании, вспыхнувшем в Варшаве ноябрьскою ночью 1830 года. Спустия некоторое время поэт — через Францию и Германию — выезжает на родину, несколько месяцев проводит в находившейся под прусским владычеством Великой Польше, вблизи границы Королевства Польского. Свободная, хоть и на короткое время, Варшава и армия, воевавшая под польским знаменем, не увидели своего поэта. (Героизм сражавшихся он воспел позднее, по рассказам друзей-очевидцев, в нескольких повстанческих балладах.) Трудно определить сейчас и характер внешних препятствий, помешавших поэту осуществить тот замысел, с которым он отправлялся в путь, и его душевное состояние в эти трагические месяцы. Нельзя совершенно исключить и недостаток решимости, может быть, даже неверие в возможность немедленного освобождения; небезынтересно в этом плане предповстанческое стихотворение «Матери-польке». Но, свидетель национальной катастрофы, он пережил ее с острою и жгучею болью, запечатлев в поэтическом слове, разделил с уцелевшими от расправы повстанцами тяготы эмигрантского существования и оставшиеся годы жизни провел на переднем крае национально-освободительной борьбы.

Начинается одно из самых трагических десятилетий в истории польского народа. Царские власти отправили пленных на каторгу и в ссылку и чугунным ярмом сдавили избежавших репрессий. Сделали выводы соседи, соучастники по грабежу и насилиям,— Пруссия и Австрия. В обескровленном крае долго еще оставался невозможным новый революционный порыв, на который надеялась польская эмиграция, с почетом встреченная демократической Европой и с настороженной неприязнью — западными правительствами.

В новый этап развития вступила и польская литература. Борьба за утверждение романтизма отошла в прошлое: восстание подвело черту под старыми спорами. На долю поэтов выпадают задачи, невиданные по грандиозности: духовно поддержать и сплотить соотечественников, объяснить случившееся и призвать к борьбе, вписать судьбы нации в историческую перспективу, приемлемую и понятную для современников. И в момент, когда перед неповторимо-трагической судьбой народа маловажным выглядит эстетический и литературный поиск, когда средоточие умственной и художественной жизни неестественным образом оказывается за пределами страны, польская романтическая поэзия возносится к вершинам суровой правды, истинно прометеевского пафоса и достигаемой словно бы без малейшего усилия оригинальности. Будто торопясь засвидетель-

ствовать присутствие польского народа в культурной и духовной жизни Европы, на подавление восстания она отвечает шедеврами. Первый из них — третью часть «Дзядов» — создает весной 1832 года в Дрездене, где ненадолго задержалась эмигрантская волна, Мицкевич. С этого же года поэт почти постоянно живет в Париже.

Основной пафос третьей части «Дзядов» без труда дойдет и до людей нашего века, чья история изобилует примерами неравной борьбы народов за свободу, мужественного сопротивления грубой силе. Для понимания реальной основы драмы достаточно знать, что процесс «филяретов» описан в ней с соблюдением правды характеров и верности многих деталей, что обращение автора к нему было не случайным: уже не открытый бой, а трудный и упорный поединок с торжествующим врагом стал в эти годы нормой и единственно возможным проявлением патриотизма. Не удивят читателя, знающего обличительную силу классической русской литературы, и портреты гонителей польского народа, циничных и аморальных царских сатрапов. Можно добавить, что появление среди виленских патриотов русского офицера, будущего декабриста, и типично для отношения Мицкевича к России, и вполне достоверно исторически (именно в 1823 году побывал в Вильне М. П. Бестужев-Рюмин).

Небесполезны будут и пояснения. Грандиозность замысла «Дзядов» (автор собирался развить его и далее), желание дать синтетическое решение комплекса философско-политических и моральных проблем продиктованы были отмеченными выше стремлениями и обязанностями послеповстанческой литературы. Неудивительно, что на первый план выдвигается жанр свободно построенной романтической драмы, к которому вскоре обратились и другие романтики — Словацкий и Красинский. Отсюда и фрагментарность, кажущаяся неслажленность конструкции: непрерывная смена картин, до предела насыщенных эмоционально, без крепко сбитой композиционной основы, при связи, основанной лишь на единстве чувства и мысли. Отсюда и своеобразный жанровый сплав (историческая и философско-этическая драма, лирико-драматическая поэма) с привлечением средств разнообразных поэтик (оперы, мистерии, народного фарса и т. д.), элементов эпического повествования, лирического монолога и агитационной песни, при отмеченной самим автором «непрерывной смене тона и ритма». Отсюда и двуплановость: существование реализма — в героико-патетической и обличительно-гротескной разновидностях — с самой крайней романтикой и фантастикой.

Не могут быть отсечены от драмы занимающие в ней существенное место и представленные в выразительно-наивной упрощенности элементы христианской мифологии, ее дьяволы и ангелы. Они понадобились поэту для предельно четкой обрисовки сил добра и зла, для такой оценки действующих лиц и исторических сил, которая исключала

бы недомолвки и легко усваивалась тогдашним читателем. Не обошелся без них Мицкевич и при решении другой задачи: отстоять смысл исторического развития, для Польши обернувшегося в тот момент трагической до несправедливости стороной, убедить себя и читателя, что победа сил свободы и добра этим развитием (оно сливалось в понимании поэта с высшим предопределением) в конечном счете обусловлена, другими словами — устоять на почве оптимизма, без которого немыслимо было остаться поляком-революционером. И тут мировоззренческие искания Мицкевича пошли по своеобразно «еретическому» руслу. В «Дзядах» (а с еще большей обстоятельностью в другом сочинении, художественно-публицистическом, в стиле библейской прозы — «Книгах польского народа и польского пилигримства», 1832) он начинает развивать доктрину так называемого «польского мессианизма». Заразив в той или иной форме виднейших романтиков 30—40-х годов, доктрина эта отводила Польше особую историческую роль: искупить своим страданием, подобно Христу, грехи народов и возвестить человечеству эру братских международных отношений. В пору недостаточной зрелости польской общественной мысли она как бы отражала неестественность положения растерзанной и придавленной Польши в тогдашней Европе, но не была ни националистической, ни антиреволюционной, особенно в изложении Мицкевича, призывающего собратьев сражаться на стороне народов, где бы ни вспыхнуло восстание против деспотизма.

Все это небезразлично и для сопоставления героев драмы. Конечно, нам всего ближе и понятнее самый яркий из них — поэт и богооборец Конрад, до известной степени являющийся двойником автора. Восставая против верховного авторитета, вооружаясь небывалою силою чувства, основанного на принадлежности к угнетенному народу («Я и отчизна едины»), он клеймит бога, холодного и равнодушного, как виновника господствующего в мире страдания. (Здесь и полемика с философско-исторической концепцией деизма.) Но солидарность с этими обвинительными речами была для Мицкевича равнозначна духовной капитуляции. Он начинает спор с героем, с собственным прошлым, с вчерашним днем национального движения, противопоставляет друг другу два типа патриотизма и героизма. Один — индивидуалистического толка, мечущийся между гордостью и отчаянием, преувеличивающий возможности исключительной личности в национальном деле (требование Конрадом власти над душами). Суть другого — в непримиримом самопожертвовании, в бесхитростной и терпеливой вере в будущее. Образное их воплощение (Конрад — ксендз Петр), безусловно, неравноценno: в одном воплотилась реальная боль, пережитое и прочувствованное, другой был обозначением, нащупыванием идеала. Но даже в этом сложном переплетении верного и гадательного отразился переломный характер эпохи: польское освободительное движение пересматривало старый багаж, шло

к новому идеалу патриота, теснее связанныму с массой, хоть и вовсе не такому, каким он мыслился Мицкевичу. Здесь могут служить проясняющей параллелью и призыв одного из патриотов в «Дзидах» сойти «в глубины» нации, и позже одна из линий «Пана Тадеуша» (превращение Язека Соплицы в патриотического эмиссара Робака).

Эпическое приложение к третьей части «Дзиадов» («Отрывок»), представляющее для нашего читателя особый интерес, в содержании своем полностью объясняется датой опубликования. Соединение жанров своеобразного путевого дневника и небывалого по резкости бичующего памфлета исключало, конечно, безупречную многосторонность изображения. Пушкин, одним из первых в России познакомившийся с «Отрывком», вступил в «Медном всаднике» в поэтическую полемику с Мицкевичем (апофеоз Петра I, картины Петербурга, оценка русской государственности). Но среди всего, что писалось тогда о России за рубежом, «Отрывок», бесспорно, выделяется как картина, увиденная глазами революционера, основанная на лично испытанном, созданная во многом «изнутри», свободная от высокомерной недоброжелательности. Надо заметить, что почти ко всему, сказанному польским поэтом о России,—вплоть до таких вещей, как оценка Петра и его реформ, горький упрек братуславянину, пассивно терпящему неволю,—находятся параллели в истории русской публицистики и литературы XIX века. Многозначительно и то, что Мицкевич выступает не только обличителем, но и пророком, предвещающим свержение тирании, и то, что для него важно быть правильно понятым передовой Россией, провести грань между нею и царизмом («Памятник Петру Великому», «Русским друзьям»).

Второе из этих стихотворений — еще один пункт сближения Мицкевича с нашей литературой. В нелегальную русскую поэзию оно вошло несколькими переводами, появившимися на разных этапах освободительного движения (петрашевец Момбелли, Огарев, Добролюбов и др.). В 1906 году оно открыло вместе с пушкинским посланием в Сибирь «Собрание стихотворений декабристов».

В 1834 году Мицкевич публикует прославленную поэму «Pan Tadeusz» — крупнейшее и известнейшее из своих произведений. Поэма эта, при всей своей польской специфичности, до конца постигаемой, вероятно, лишь на родине, принадлежит к тем произведениям польской поэзии, которые воспринимаются нашим читателем с наибольшей легкостью и глубочайшим удовлетворением. Именно здесь полнее всего раскрываются в творчестве Мицкевича реалистические тенденции, из романтизма органически вырастающие, тесно связанные с характерными для него проблемами и подчиненные романтическому настроению, особенно сильному в последних двух книгах; оно проявляется в патриотическом пафосе и скорби, в эмоционально-субъективной (при максимальной сдержанности

и тактичности) оценке изображаемого, в своеобразной манере повествования.

Мастерство реалистического бытописания, воспроизведения природы в поразительном богатстве красок и тонов, мастерство индивидуального и группового портрета, типизации, сочетающей неповторимое с обусловленным временем и средою, становится сразу же очевидным для любого чуткого читателя «шляхетской истории» Мицкевича. Не менее важно и пронизывающее поэму чувство историзма. Привлекательные и живописные черты старошляхетского уклада не мешают поэту показывать — то с лирическим юмором, то с достаточной остротой — и смешные слабости, и явные, губительные для страны пороки сословия, а главное — принадлежность героев отмирающему и невозвратному прошлому. Неминуема, по Мицкевичу, не только смена поколений, но и замена отживших понятий новыми (многозначителен эпизод освобождения крестьян заглавным героем), ломка старого быта и нравов, обновление облика нации. Путь, следя которым польский народ сможет выжить, сохранить себя,— это не цепляние за прошлое, а объединение в патриотической борьбе. И в соответствии с этим выступают в роли героев времени солдаты освободительного дела.

Патриотический замысел определил и особое отношение поэта к событиям 1812 года, изображенного как время радостного подъема и надежд. (Впрочем, и тут объективно отмечено, что культ Наполеона даже тогда не был всесообщим.) И дело не только в обаянии «наполеоновской легенды», от влияния которой Мицкевич не освободился до конца жизни, но и в стремлении создать книгу вдохновляющую и ободряющую, уверить современников в их способности возродиться и сплотиться в вольноподобивом порыве.

«Пан Тадеуш» стал свидетельством подъема польской романтической поэзии до высшего уровня европейского литературного развития. Исследования показали, что разнообразнейшие художественные открытия и искания, в целом комплекс жанров, поэтических и прозаических, Мицкевичем были так или иначе учтены, гениально подхвачены или независимо повторены, обогащены и развиты. Не потому ли его гениальная поэма — как это нередко бывает — ломает рамки жанровой классификации?.. От романтической поэмы в строгом смысле слова, от «поэтической повести» ее отделяет очень многое. Термин «эпопея» передает скорее место «Пана Тадеуша» в национальной литературе, читательское к нему отношение. Быть может, не так уж неуместно было бы сказать: «роман в стихах»... если бы ранее не успел завладеть этим определением Пушкин.

Творческий взлет начала 30-х годов завершил, в сущности, путь Мицкевича как художника. Если не считать двух драм на французском языке, писавшихся для заработка, и лирических шедевров 1838—1841 годов.

дов, замечательных светлою грустью, классической прозрачностью, мужественным приятием жизненной доли и глубиною рефлексии, он не выступает с поэтическими произведениями. Может быть, просто иссякает столь щедро проявлявшая себя прежде творческая энергия. Наверняка губительную роль играют вынужденный отрыв от родины, тяжесть забот о многочисленном семействе, главою которого стал поэт, женившийся в 1834 году на Целине Шимановской, дочери знаменитой пианистки. Светлых моментов в эмигрантском существовании Мицкевича было немного: краткий период профессорства в Лозанне, возможность публичного выступления со славянской кафедры парижского Коллеж де Франс (1840—1844) и, наконец, пора надежд и действия — «Весна народов» — 1848 год.

Главным в жизни поэта становится стремление к публицистической и практически-революционной деятельности. Началом ее было редактирование Мицкевичем демократической газеты «Польский пилигрим» (1832—1833). Оно обозначило его верность принципам польской демократии, при всей сложности отношений, расхождениях по важным вопросам и даже полемике с некоторыми радикальными идеологами эмиграции.

Первая половина 40-х годов в жизни Мицкевича стала полосой застоя и спада в мировоззренческом развитии. Вступление его в нашумевшую мистическую секту Анджея Товянского было связано с уходом в мессианизм иного порядка, нежели в 30-е годы, подменивший, по сути дела, революционную устремленность пассивным морализаторством, нравственным взаимоистязанием в поисках мистического совершенства. Отрезвление принес 1848 год. Мицкевич организует польский легион, сражающийся за свободу Италии. В 1849 году в Париже он приступает к изданию интернациональной демократической газеты «Трибуна народов» на французском языке (в том же году она была закрыта властями). Тогда же происходит его встреча с А. И. Герценом, описанная в «Былом и думах». И если созданный здесь русским писателем портрет Мицкевича замечателен своей пластической выразительностью, то оценка его публицистической деятельности нуждается в серьезных дополнениях. «Трибуна народов» была боевым органом демократии. Опубликованные в ней блестящие статьи Мицкевича стали венцом его мировоззренческих исканий, завершившихся приходом к революционному демократизму, беспощадно разили европейскую реакцию, звали к революционному союзу народов, отмечены были живым интересом к социалистическим учениям, расцениваемым как предвестие гибели старого общества, выражение «новых стремлений и новых страстей». Речь шла, конечно, о социализме утопическом, в толкование его идей Мицкевич внес примесь наивной религиозности. Но показательно, что в мирную реализацию утопий поэт-революционер не верил и восклицал, обращаясь к их пропагандистам: «Вы признаете, что существуют лишь рабы и их угнетатели, жертвы

и палачи, а между тем хотите осчастливить человечество, установив гармонию между добром и злом? Неужели вы хотите, чтобы эксплуататоры уступили перед логикой ваших рассуждений, когда они сопротивлялись самоотверженной борьбе и жертвам целых поколений?» Сторонник тактики смелой и решительной, он понимал, что «в известных положениях вялость и равнодушие являются величайшим преступлением перед отечеством», и призывал подавлять сопротивление врагов свободы: «в революции надо быть революционером, и тот, кто им не стал, падет». Статьи 1849 года оказались идейным завещанием пламенного демократа, поборника дружбы народов.

Во время Восточной войны, надеясь в обстановке конфликта между европейскими державами извлечь какую-либо пользу для польского дела, Мицкевич выезжает с политической миссией в Константинополь, где формировались польские легионы для участия в военных действиях на стороне Турции. Здесь и прерывается его скитальческая жизнь: заболев холерой, поэт умирает 26 ноября 1855 года.

Б. СТАХЕЕВ